

Только не сворачивай!

Отформатировано: слева: 5,08 см, справа: 5,08 см,
сверху: 2,54 см, снизу: 2,54 см

*Садако, она же госпожа Хатидзё, урождённая
Намма*

*Асано Иэнори, он же господин Хатидзё, её
супруг*

— И ни в коем случае не сворачивать!

Да говорили уже. Наш проводник трижды повторил, теперь этот господин — и тоже не в первый раз. А ещё в Столице предупреждали: ой, там в Отрадных горах слева пропасти, справа скалы и всюду вишни... Видно, не совсем так, коли будет куда свернуть?

— ...Ибо сбиться с дороги в нашем случае опаснее, нежели благородному мужу утратить Путь Добродетели. Возможно забрести в иные миры! В области, разумею я, населенные демонами, либо хищниками, крылатыми псами, не говоря о худшем...

Господин длинный, тощий и образованный, одет по всем горным правилам: веревочные подмётки, поножи, штаны по колено, безрукавка, одеяло через плечо, белая рубаха. И посох выше головы, на две трети исписанный: названиями святынь, которые этот паломник успел посетить. Не монах, но держится бывалым странником.

Посох у меня тоже есть, и пока он мешает больше всего. Может, всё дело в росте. Вот супруг мой с ним выглядит совершенно непринуждённо.

Дворик здешний храмовый — как на картинке со свитка. С двух сторон крытые помосты, а где их нет, просто забор с воротцами. За ними — невысокие горки, верхушки вишен, вид на две соседние долины. Посередине храм и паломнический дом, двери раздвинуты, там монах как раз наставляет моего супруга. Напутствие каждому дают наедине, подслушивать не

велели.

Через забор вишнями любоваться — это только для начала. Вообще всё это весеннее паломничество — ради них. Мы уже на высоте, но отсюда начинается дорога в настоящие горы. А деревья и тут не такие, как в Столице: огромные, кряжистые, и все в цвету!

А по двору прохаживается этот зануда бывалый.

— Из книг святых известно: как люди, так и клещи, вкупе с иными кровососущими, равно осиянны милосердием Просветлённого. Следовательно, меры защиты от вредоносных насекомых надлежит принимать самостоятельно.

Слушают его вполуха. Нас вообще-то не очень много, хотя сколько точно — пока не понятно. Большая семья пререкается вокруг носилок: может, сами ещё не договорились, кто идёт в горы, а кто остаётся. Там старая бабушка в середине, её понесут непременно. При ней внуки, один примерно моих лет, второй помладше, и слуг человек десять. Со старшим внуком, кажется, что-то не так: чуть он куда направится — за ним тотчас вскакивает челядинец, хватает сзади за пояс, провожает или усаживает, как маленького.

Ещё два чиновника из Столицы: один отставной, недавно обритель и в монашеском платье, другой при должности, из податного ведомства. Монах всё время ёжится, потирает то ладони, то щёки, мирянин его успокаивает.

Отдельно от всех сидит воин при сабле. Сам по себе, никого не охраняет.

Я — на помосте под навесом сижу. Если не считать старушку, то кроме меня тут только одна женщина. Она тоже с мужем, и тоже — молодожёны, хотя им уже под тридцать. Эти двое с нами ехали из-под самой Столицы, так что мы уже немножко знакомы. Только она не дама — простолюдника из небедных горожан. Чьи они люди, я так и не поняла, а прямо

спросить неудобно. Решат, что мы перед ними чванимся: как же, младшая родня дома Конопля... У них-то господин, похоже, не самый родовитый.

А женщина, по-моему, славная. И ничего не смешно, что влюблена.

Их так и зовут теперь: Уточка и Селезень, как в песнях про неразлучную любовь. Кавалеру её как раз имя подходит: смуглый в рыжину, одет ярко, волосы хохолком и нос приплюснут сверху вниз. Он, конечно, тоже не кавалер, по походке я бы сказала — из торговцев беспешинными заморскими товарами.

Уточка сидит со мной. Муж её подходит, становится у столба. Учтиво: к нам спиной. Переборок-то тут нет. Правда, мы в шляпах. Почему-то в паломничество нельзя обычное покрывало, только особую шляпу с занавесочками. Очень пока непривычно.

— А у него, — кивает Селезень на воина, — саблю так и не отобрали...

— Так нам уже объяснили, — говорит Уточка. — Он её наверняка в храм должен посвятить, потому что зарекается. Насчет человекоубийства.

— На кой монахам-то сабля?

— Это уж я не знаю. А всё в дороге спокойнее.

Косится на мужа:

— Вот и тебе бы...

— А чего? У меня ничего убийственного с собой нет, — разводит он руками.

Оружия и впрямь не видно. А вот бутылок — две. Одна у пояса, другая под полою. Была бы в ней вода — зачем прятать?

— Ну ладно... — тянет Селезень.

А Зануда, как всегда, по сторонам поглядывает. Нельзя же пропустить повод для назидания:

— На постоянных дворах надобна осмотрительность во всём, что касалось пищи и питья.

Свойства воды значимы!

— Дерзну заметить, — вставляет чиновник, который с монахом, — первостепенно значимы: браги ведь в святом паломничестве нельзя...

— А вот тут и ошибка! Нам предстоит посетить святилище **Светлого Царя, Набухшего Страстью**. На пятый день пути, после водопада Узорного. Сей бог, как известно из преданий, дал обет не выпивать в одиночестве. Потому покровительствует благочестивым собутыльникам. В селении возле святилища готовят отменный напиток. По окрестностям предлагают угощение будто бы из тамошних бочек — но не полагайтесь на слова потчующих. Встречаются подделки!

Такому и слушателей не нужно: говорит и сам собою наслаждается. Даже не замечает, что мы у него перед глазами, и стоило бы отвернуться от чужих жён. Ну и пожалуйста, я и сама могу отвернуться.

Эге, а на стене сзади нас — что-то написано. Похоже, стихи!

*В теплых предгорьях
Уже облетели вы,
Сельские вишни.
Выше по склону пушусь,
Следом за беглой весной.*

Написано не в этом году, но никто не стёр. Читаю.

— Вот как? — заглядывает на галерею Зануда.
— Беглой, значит? А ведь рука-то знаменитая...

Я не узнаю. Спрашиваю: чья же?

— Царевича покойного. Выходит, и вправду путь песен достигает даже ада...

Не понимаю. А тут и мой супруг возвращается. Показывает рукою: теперь, мол, монах тебя приглашает для беседы.

Под вишнями и чучело красиво, — так говорят.

Вот и муж мой: хоть на человека похож в этой горной одежде. Волосы почти до низа ушей отросли, из-под паломничьей шапки даже неплохо смотрятся.

* * *

Вообще с этими Отрадными горами всё получилось неожиданно. Я, конечно, не из тех дам, которые кроме Столицы ничего не видели в Облачной стране: бабушка, следователь Полотняного приказа господин Намма, меня ещё с детства возил во всякие свои деловые поездки. А потом всё это кончилось.

Во-первых, бабушку повысили, и теперь у него должность невыездная. А во-вторых, меня выдали замуж за очень знатную особу. Муж мой — внук самого господина Асано, главы нашего Конопляного дома и Обрядовой палаты. Прежде молодого господина всё тянуло в паломничества да в побегу, куда не велено: голову себе зимой остриг, чуть монашество не принял... Затем его и женили на дочке сыщика: чтоб под присмотром был.

И с самого начала всё пошло не как у людей. У всех знакомых муж живёт у своей родни, а к жене навещается. Но мой супруг своих родичей так прогневал, что ему в усадьбу Конопляного господина больше ходу нет, кроме как по службе. Так что нас с ним поселили вместе, на Восьмой улице, в доме моей мачехи. Там было недавно расследование, дом запустел. И теперь мы так и зовёмся — господин и госпожа Хатиджэ, «с Восьмой улицы».

Попутчице нашей Уточке на самом деле очень хотелось потолковать про своего супруга: какой он удалец и умница. Но чтоб не одной хвастаться, спрашивала и про моего. А что про него сказать? Хороший муж: не бабник, не пьяница, не задира. С дюжину «не» набралось... А в остальном? — А я

женщина добродетельная и в остальном не имею с кем сравнить! Получилось как-то заносчиво, но Уточка не обиделась.

Но вроде бы тогда, зимою, всё было, что должно меж супругами. И кровь, и голова кружилась. И жалко было до смерти: вот уж точно, муж, один-единственный на свете, потому что — второго такого чучела нигде нет! Спросила у него: так оно и бывает? «Насколько я знаю, да.»

Дитя заведётся, тогда уж убедимся: да, так. А пока дитяти не намечается.

Усадьба у нас большая. Челяди мало — прежняя после следствия или разбежалась, или была умышленно рассредоточена. А новую быстро не подберёшь! Я хозяйничаю, супруг мой всё время пропадает во Дворце, у Властителя Земель, своего двоюродного брата. Порою и ночует там. Советник самого Государя! Не по должности, правда, а так. Служил муж, конечно, в Обрядовой палате, при деде, но там он от дел отстранён — и теперь ждёт, когда освободится место при тесте, в Полотняном приказе. У него там, кстати, и дядя начальником, средний господин Асано.

Так полгода и живём. Всё у нас в основном ладится. Только скучно. Новый дом — это всё-таки совсем не то, что иные края. А уезжать никуда нельзя, да как-то и незачем было.

И вдруг: возвращается муж однажды домой. На закате, по нашим меркам — раненько.

— Пойдём — спрашивает, — в Отрадные горы?

И не знаешь, как спросить: прямо сейчас? Насовсем? Пешком?

Вообще-то я давно предлагала, ещё до женитьбы. Точнее, по ходу сватовства. Тогда совсем всё плохо складывалось: то ли к горным подвижникам бежать, то ли жених, чего доброго, прямо в комнате у меня — того... Станет буддой или в Чистую землю

вознесётся. Тогда — обошлось. С тех пор речи о горах не было, супруг занят во Дворце.

— А как же, — говорю, — Государь?

Посмотрел на меня. Лицо непонятное. Ответил:

— Властитель Земель благоволил меня выгнать.

Сначала дедушка, потом Государь... Трудно живётся на свете непьющим, не гуляющим добродетельным мужам.

— Так вот прямо: вон из дворца?

— «Шёл бы ты, братец... в горы!», изволил молвить.

Это ещё ничего. По крайней мере, не ссылка. В Отрадные горы, весной, на вишни поглядеть — каждому бы царедворцу такую немилость. И очень удачно, что к службе у батюшки моего в Приказе муж не приступил пока.

— А надолго ли эта опала?

— Думаю, не очень. Но месяца два у нас есть.

Не похож был господин Хатидзё на убитого горем. Тем лучше. А что надоел он Государю — так надо ещё учитывать, каков сам Государь. Может, это и не беда на нашу голову, а вовсе даже наоборот.

Так что мы собрались, простились с батюшкой и отбыли.

Монах в обители при входе в Отрадные горы — толстый, довольный. Весеннее время, много паломников, все с дарами. А особенно он, кажется, рад был, что мирно сговорился с главою той семьи, где бабушка в носилках. Глава — монах из Южной столицы, даже я вижу: светильник учёности и какой-то важный общинный начальник. В итоге в наше паломничество идут бабушка, трое слуг и оба внука, причём старший — с поводырём. Хотя и зрячий.

Мне монах разъяснил значение странствия. Десять храмов, считая здешний, означают десять

миров. Здесь — людской мир. Потом идут три дурных: области ада, голодных духов и зверей. Дальше — благие области: небесных демонов, учеников Будды, вольных подвижников, милосердных подвижников, богов и самого Просветлённого. В каждом храме по пути нужно предаваться сообразным размышлениям. Чтобы не запутаться, там в помощь мирянам вывешены картины.

Выдал дощечку с чертежом моего пути. Рисунок похож на чётки, коротенькие и крупные: десять круглых зёрен, между ними ниточки. Подписи материковыми знаками, я их не прочту. Дощечку эту никому нельзя показывать, потому что тайна. И на каждой стоянке с нею надо подходить к настоятелю храма, он там что-то будет отмечать.

Про разные миры мне муж рассказывал. С примерами, кто чем заслужил себе рождение среди зверей, среди богов... С одной стороны — любопытно. С другой — не знаю, как он с такими мыслями будет служить в Полотняном приказе. Ему же скучно будет: зачем чьи-то дела расследовать, ежели воздаяние всё равно неизбежно...

Зато нас с ним не упрекнёшь, что мы по ночам засыпаем молчком, будто бы чужие. Есть о чём поговорить. В последнее время даже до утра — весна, светать рано стало.

— И главное, — напутствует монах, — с дороги не сходи! Тут у нас такие места... Свернёшь в долинку, а обратно не выберешься.

Кланяюсь, выхожу.

Как все паломники свои дощечки получили, так мы и отправились. Проводник, мы с мужем, Уточка с Селезнем, монах с чиновником, воин с саблей и бабушка с родичами. А ещё Зануда, как же без него!

— Также необходима тщательность в омовении. Особенно — за ушами! Иначе защита, даруемая

святыней, не будет полной...

И всё-таки: что он имел в виду, когда сказал про песни и про ад? Царевич. Покойный. В аду. Только большие праведники, говорит мой супруг, могут знать, кто где переродился. Бывает, конечно: кто-то прямо на глазах у свидетелей возьмёт и провалится под землю. Но по такому случаю учинили бы следствие. А я от батюшки ничего подобного не слышала. Разве что дело было давно, в древности.

Только вышли, а уже красиво. Вдоль дороги вишни будто бы сплошной стеной. Цветы над головою, под ногами. Не совсем белые, а такого цвета, когда под двумя слоями белого шелка лежит третья, красная ткань, и слегка просвечивает.

Посмотреть вперед — кажется, дорога круто вверх ведёт, не ступенями, а ровно. Но идёшь, и пока не чувствуется, что на подъём. Если б ещё не этот посох...

Каждый раз, когда путешествуешь, заново приходится привыкать к ночёвкам под чужой крышей. Даже не столько к виду заезжего двора — всё равно темно, — сколько к звукам и запахам. В Столице особы нашего ранга не ложатся спать так близко к скотине. И к людям, чья работа — до поздней ночи, а потом с самого утра.

Супруга моя, хоть и держится бывалой странницей, тоже ворочается, не спит. Вообще-то да: в паломничестве влюбленным положено страдать от воздержания. Мы такого обета не давали, но спутники всё равно сочувствуют: по обычаю полагается...

Нет, не уснуть! Садако решительно садится. Думает, куда пристроить волосы: то ли на лицо, то ли за спину перекинуть. А, ладно! — закрутила совсем не дамской, нетерпеливой хваткой, зажала в кулаке.

Говорит:

— Слушай... а что у тебя на дощечке написано?

Если про что-нибудь можно задать нескромный вопрос, нечего сомневаться: госпожа Хатидзё его задаст непременно. Отвечаю:

— Названия святынь по нашему пути. И роспись их по десяти мирам.

— Ну вот. Мне монах сказал — на моей то же самое. Я думала, у каждого что-то своё...

— На каждого, боюсь, не напасёшься надписей. Особенно весной.

— А тайна тогда зачем?

— Чтобы паломникам занятнее было. Чтобы наставления про миры не сразу забылись. И потом, всё равно ведь получается своё. Что такое мир богов или скотский мир — это все по-разному воображают. Не говоря уж про мир людей...

— В общем, для рассеянных, — ворчит моя супруга.

Обидно? Считают нас за городских пустышек. Будто нам разницы нет, что паломничество, что просто гулянье под вишнями, лишь бы развлечься.

Добавляет:

— Но любопытно посмотреть, что у других. Вдруг у кого-нибудь иначе?

Усаживается поудобнее. Совсем проснулась, собирается расспрашивать дальше.

Любопытство у неё непредсказуемое. И никогда не знаешь, чего ей больше хочется: ответ услышать или подловить. Ага, мол, не ожидал! А тебе откуда это известно? Или: как так может быть, что тебе это не известно?

— А что это за древний царевич? Ну, чьи стихи на стенке были.

И правда, вопрос не из простых.

— Не древний. Ему сейчас было бы... сорок три

года, да.

Она выжидательно смотрит. Придётся продолжать.

— У прежнего государя, деда нынешнего Властителя Земель, было двое сыновей. Оба рано умерли, ещё при его жизни. От старшего остались сын и дочь, и этот сын — наш нынешний Государь. А от младшего — тоже сын, вот этот самый царевич Кандзан. Девятнадцать лет назад, когда старый Государь скончался...

— А ты того Государя видел? — перебивает Садако.

— Я не помню. Говорят, он меня маленького благословил. Он тогда всех благословлял, кого ни встретит: придворных дам, кошек, младенцев... Из-за этого и произошла... некоторая заминка.

Чтоб не сказать — склока. Когда стали выяснять, кто из внуков наследует. Годами старше сын младшего сына, по родовому счёту выше — сын старшего, и никто толком не знает, кого предпочитает дед. И даже — различает ли дедушка внуков. Правого сановника с Левым он точно путал.

— Царевич Кандзан уже тогда славился как искусный стихотворец. И как блистательный кавалер, в том числе — поклонник дочери господина Копейщика.

— Это сестра нашей нынешней Государыни?

— Да нет. Это она сама и есть. Копейной барышне всяко предстояло стать Государыней, по уговору между семьями сподвижников Властителя Земель. И когда на престол восходил наш нынешний Государь, брат его, царевич Кандзан, огорчился — не из-за царствования, а из-за этой дамы. Так во Дворце говорят. Учёные люди добавляют: подобно тому как у Будды был завистник, злодейский брат его Дайбадатта... В общем, царевич учинил невозможное: перед обрядом царского посвящения проник в

Обрядовую палату — и осквернил священную кущу.

Не уволили бы меня из Палаты, я бы такого безобразия не поминал в разговоре с женщиной. Но раз уж я теперь не жрец...

— Что осквернил? — с подозрением переспрашивает Садако.

— Нельзя рассказывать. В общем, она из белого шёлка. И на этом шёлке царевич записал свою якобы поздравительную песню. Непристойную, если вникнуть.

О чём была песня, супруга, к счастью, не уточняет. Этого я уж точно вслух повторять не стану.

Не в похабстве дело. У Государя в юности и за старшего, и за друга, и за наставника был брат его Кандзан. Всё самое лучшее и самое больное пережито вместе с ним... И вот, по больному-то брат и ударил. Песенным словом, самым острым, что знал.

Но как бы там ни было — святотатство. Возле такого древнего обряда письменам не место.

— Вникли, разобрались. Кандзана сослали в запроливные земли, в край Тоса.

— И он там затосковал и умер? — понимающе кивает жена.

— Хуже. Он попытался бежать. Воспользовался, говорят, суматохой в пору большой бури. Помнишь, когда в Столице с Южных ворот кровлю сорвало?

Что, я опять не к месту что-то ляпнул? Жена усмехается:

— Мне рассказывали. Только самой меня тогда ещё вообще не было.

— Ох, ну да...

Вечно я преувеличиваю ее возраст. Рассудительна не по летам, вот почему.

— Так вот, царевич там, на острове, попытался угнать лодку, как раз в самую непогоду. И погиб. Не каждый Государев родич в наши дни падает жертвой

донного землетрясения. Очень плохое было знамение.

Садако что-то прикидывает про себя.

Спрашивает:

— А все, кто так погибает, попадают именно в ад?

— Нет, что ты. В ад попадают за злодеяния. Впрочем, под донную волну тоже...

— А откуда тогда все знают про ад?

— Тело не нашли. А через некоторое время стали появляться стихи. И знатоки твердо говорили, что это Кандзан их сложил.

Сначала некий чиновник Надзорной управы, проездом из Восточных земель, заметил строки на столбе — на постоялом дворе, примерно как мы вчера. Но это бы ещё не страшно: списали на поклонников Кандзана. Потом раз или два похожие песни слышали в Столице. Как водится, от несмышлёных детей. Это уже настораживало. Потом одному учёному господину нестати привелось похвалиться: приобрёл, мол, целый сборник, изящно переписанный и совсем новый...

— Палата Обрядов провела гадание, чтобы пресечь слухи. Вещунья в одержимости сказала: Кандзан в аду.

Меньше надо слушать монахов-проповедников, — сказали вещунье. Где это видано, чтобы родные наши Облачные боги в речах своих поминали ад? Десять миров, конечно, едины, но обряды-то разные! Впрочем, девица-жрица попалась умная. Ничего из сказанного её устами честно не вспомнила, как одержимой и положено.

— Решено было проверить. Ведомство Темного и Ясного тоже погадало — и подтвердило. Хотя уж по их-то вычислениям ад никак не может получаться.

«В аду на небе что? Ничего! Вместо неба дым и пламень. Ваши расчёты на чём основаны? На расположении небесных светил. Где ад — и где

светила?» Наставник Тёмного и Ясного сам был в растерянности. Ну вот, смотрите, говорит. Сопоставляем день рождения царевича и нынешний день. Получаем умозрительные числа. Переносим их на чертеж Облачной страны. Направление — низ, расстояние — предельное, первоначало — огонь, звёздная обитель — Возмездие. Складываем. Получаем Подземные узилища, то есть ад.

— Этим гадалщикам и мы с батюшкой не доверяем, — жена задумчиво потирает нос. — Но раз жрица вещала...

— Только ты, пожалуйста, об этом особо не вещай. Это государственная тайна.

— Обижаешь!

Вот я чем обижаю. А не тем, что лежу себе поодаль: как дома, так же и тут, ничьего целомудрия не нарушаю. Да не ко всякому разговору идут супружеские ласки.

«Государыня...» — вымолвил однажды мой Государь. И дальше: «Ненавижу». Не её, не брата-стихотворца, не всё своё правление, омрачённое с первого же дня. Себя, прежде всего, он ненавидел. И ещё — весь тот расклад, где ясному надобна тьма, облаку земля, мужу жена. А если вдруг не надобна, то найдётся старший брат: объяснит младшему братишке, чего тот на самом деле желает и боится.

Нет, когда собеседнице нужен собеседник и наоборот — это куда как лучше. Хорошую невесту мне дед нашёл.

Всё-таки — горы. Под ноги смотреть приходится, а не на дальние вершины глазеть. Идёт-идёт ровная тропинка, и вдруг — обрыв впереди. Говорят, надо прыгать, кто храбрый. Или на веревку

привяжут и будут спускать, как тюк.

А прыгать — выше, чем с крыши у нас дома. И все смотрят. Так что я нарочно замешкалась. Помогала старушку увязывать.

Её до половины спустили, а она за голову хватается. Вернее, за шляпу:

— Где мой парик?!

Монах, который бывший чиновник, тихонько бубнит:

— Зачем парик в святом странствии? Будто бы Просветленный не видит, как кто из нас выглядит на самом деле...

Ну и правильно он сделал, что в монахи пошёл, раз таких простых вещей не понимает!

А глухонемой сам спрыгнул. И смеётся. Это старушкин старший внук, за которым поводырь присматривает.

Меня муж, конечно, поймал. Но всё равно страшновато.

Зато посох потерялся!

И имя придумалось. А то супруг до сих пор не знал, как меня называть, если не госпожю Хатидзё. Служил бы он — я была бы какая-нибудь советница, а пока... Но вот теперь — Белка. Потому что:

Подскочила, прыгнула — белкой летучей.

На широких рукавах — падаешь? Летишь!

Старушка ворчит и на внука, и на поводыря. Громко, так что теперь все поняли, что с этим глухонемым такое. Прошлой зимой его устами подал знамение какой-то бог. С тех пор он ни слова не говорит и не всё понимает. Наш Зануда подхватывает: о да, именно поэтому ещё в старинные времена Властитель Земель постановил — да будут вещуньями девы. И только девы!

Часа два прошли — опять обрыв. Только тут не

спрыгнешь. И глубоко, и на другую сторону вверх пришлось бы лезть по отвесной почти скале. Так что здесь мостик сделан — из верёвок и досок. Довольно хлипкий, на ветру качается.

Проводник распорядился: переходить по одному, вниз не смотреть ни в коем случае. И не сворачивать! То есть вправо-влево даже головой не вертеть, иначе мост перекосится. Госпожу бабушку понесёт на спине самый худой из её слуг, потому что вообще-то мост на двух человек не рассчитан.

Было бы даже не так уж страшно, но господин Зануда, конечно, не промолчал:

— Будемте осторожны! На этом месте каждый год бывает пять-шесть несчастных случаев!

— *Сорок путников себе шеи свернули*, — поёт Селезень, издевается.

— *А на дне той пропасти вишни всё цветут*, — соглашается мой муж, заглядывая вниз.

Старушка с внуками и слугами двинулись вперед. Перебрались по очереди. Так уверенно, что все приободрились. Следующий — Зануда. Идёт, посох наперевес, как у плясуна, каждый шаг выверен.

За ним — монах. Очень медленно, цепляется за боковые верёвки. Третий моста прошёл и встал. Опустился на четвереньки, пополз. Весь мост ходуном ходит.

Ой! Доски посыпались! И в дыру монах провалился, повис. Сейчас упадёт!

Вот почему было не предупредить, что так ползти нельзя?! Проводник, тоже мне! Зануда с той стороны что-то кричит. Наверное, советы, не разобрать — ветром относит.

Чиновник, который с монахом вместе, дёргает проводника за рукава: сделай же что-нибудь! Супруг мой ставит на землю наш дорожный короб. И не спеша разматывает верёвку. Как иначе? Конопляная верёвка у

людей из рода Асано всегда с собой. Только докинешь ли её отсюда? И как монах её поймает?

Уточкин муж тоже скидывает поклажу. Ни слова не говоря, подхватывает один конец верёвки и бежит на мост. Нельзя! — рывкает ему проводник. Да поздно.

Добежал. Мост туда-сюда мотается, как качели, ещё две доски вниз улетают. Селезень продевает веревку монаху под мышки, затягивает узел. Возвращается:

— Тянем, так-перетак!

Ну, тянем. Нас хоть и много, но друг другу мешаем. От середины моста мало что осталось. Но вытащили!

Монах сидит, глотает воздух: ему верёвкой грудь придавило. Друг вокруг него хлопочет. Селезень бранится неучтиво, Уточка расплакалась. «А если бы мост не выдержал, если бы ты разбился...»

Господин Хатидзё сворачивает верёвку. Молится. Проводник побежал в деревню. Вообще-то тамошние жители должны за мостом смотреть и чинить вовремя, а не когда всё разлетится...

А воин молчит и к Селезню присматривается искоса. Хмыкнул, отошёл в сторону, отвернулся.

Пришли поселяне. Полдня чинили мост. Мы пока закусываем.

Уточка уже не плачет, а шёпотом ругает Селезню:

— Зачем? Это наше, что ли, дело? Может, его затем и отправили сюда...

Чтобы бывший чиновник из паломничества не возвращался? Погиб в опасном месте, которое всем известно, никаких подозрений? Но тогда надо было, чтоб он первым шёл. По-моему, всё-таки случайность. Селезень, кажется, тоже так думает:

— Кабы так, нас бы предупредили. А товарищ его — всё равно скотина. Самому поспевать надо, а не

ждать, пока за тебя твою зазнобу уделают.

Уже за полдень — переправились. Мост только что починен, идти не страшно. Хотя лучше бы он был покороче...

* * *

Паломничьи дворы на дороге все друг на друга похожи. Ворота, за ними пустая площадка, храм с башенкой, позади него покои для постояльцев, по бокам — кельи для монахов. Правда, теперь, на высоте, уже ни волов, ни собак не слышно, только человечески голоса.

И ещё какой-то посвист. Неприятный, между прочим: как железом по воздуху. Не со двора и не из дома, а, кажется, вот отсюда, с храмовых задворок. Я сквозь щель в переборке глянула — там садик. Ветка с цветами прямо перед глазами качается. Каждый лепесток отдельно видно, хотя ещё и сумерки. Дальше несколько деревьев вишнёвых, кусты и камни, а через пять шагов — уже горный склон поднимается и на нём дикая поросль.

По этим пяти шагам кружит наш спутник, который воин. Перед рассветом с оружием упражняется. Я в сабельном бое не разбираюсь, но, наверное, хорошо получается: пока все ветки целы. Даже цветов лишних не нападало.

Долгое прощание? Саблю скоро отдавать, а расстаться жалко? Или тут иначе всё? Храму в подарок ценное оружие, а к нему в придачу искусный боец? Вот он и старается, чтобы как следует себя показать перед новым начальством?

Остальные наши паломники все спят. И супруг мой тоже. Если сейчас вылезти из нашего покоя на общее крыльцо, а оттуда заглянуть к соседу, пока он занят, — так никто, должно быть, и не заметит...

Меня батюшка чему-то да научил. А в обыске, как все знают, господин старший советник Намма не знает себе равных. Когда в полутьме обыскиваешь, это даже лучше: наощупь. Меньше тянет переложить что-нибудь из вещей с места на место. У нас досмотры — тайные!

Ничего особенного. В мешке у служилого господина — мягкий тюфячок, обшитый поскониной. Тоже в дар монахам? Им обычно жёсткие сиденья подносят, но там, может быть, настоятель старенький. А поверх лежит подорожная дощечка. И вот на ней знаки почему-то не такие, как у нас с мужем. И кружок только один, и какие-то кривые полосы, и похоже, западные буквы, как в заклинаниях.

Оберег? Тогда обидно, почему нам не дали. Или у нас столько врагов нет, как у этого вояки? А может, особый путь паломничества: в один из миров, а не по всем десяти по порядку? Или вообще тайнопись. Ведь очень удобно: в дощечки чужие заглядывать не принято, самое место, куда записывать важные сведения, чтобы никто не догадался. А даже если и найдут, скажешь: не знаю ничего, в храме такую выдали. И допрашивать будут не тебя, а монахов и проводника.

Жалко только, что я тайнопись читать не умею. Просила батюшку показать, он всё — потом, потом, а там и замуж выдал...

Спутники наши потихоньку зашевелились, просыпаются, так что я вернулась назад. Но когда собрались выходить, и проводник начал нас строить и после вчерашнего ещё раз давать все указания о том, как надо быть осторожными в пути и особенно на мостах (и не сворачивать!), я с Уточкой заговорила. Спросила так, между прочим: а не знает ли она случайно, кто, собственно, такой этот воин?

Ей, похоже, и самой любопытно стало:

— Так давай спросим!

Есть всё-таки свои удобства в простом звании: вот так сразу повернулась к нему и полюбопытствовала: это из какого же дома такие знатные рубаки? И не поймёшь: то ли потому просто, что он с саблей, то ли Уточка утром тоже его упражнения заметила.

Воин, однако, особой любезности в ответ не выказал: буркнул, что он, мол, из земли Тоса, и отвернулся. А там нам уж и выходить пора оказалось.

— Тоса, стало быть... — говорит Уточка уже через пару сотен шагов. — А по выговору и не подумаешь...

И верно. У дяди моего имение в том краю, за проливом. Знаю я, как там говорят: лягушачьими такими голосами. Подделаться непросто, а этот воин даже и не пытался. Стоило бы, пожалуй, за ним приглядеть...

* * *

Всех вишен Отрадных гор хватило, чтобы занять сердце моей супруги от силы на три дня. Правда ведь: мало в их стволах дупел с тайными донесениями, а на ветках — гнёзд для разбойных стрелков. И даже учёный наш собрат по странствию не о каждом дереве готов поведать, как столько-то лет назад меж корней его нашли отрубленную голову некоего чиновника не ниже седьмого ранга... Только по шапке и опознали...

Госпожа Хатидзё стала искать себе других развлечений. Выбрала — неведомо почему — паломника с саблей. Давай, говорит, вычислять, кто он такой.

Тоже занятие, конечно. И не самое скучное. Вот у новообритого монаха с мирянином-проводящим лица всю дорогу такие напряжённые, будто они стихи

слагают — о вишневом цветке, желая соблюсти все правила изящной речи. А у отроков и престарелой дамы — вид то и дело озадаченный, словно бы недоумевают: куда это мы попали? А какая у меня самого мина, лучше и не думать.

Мне-то вишни тоже не в прок.

Следом за беглой весной... Когда-то Государь мне велел: «Если заметишь, что я подражаю братцу моему Кандзану, дай мне знать немедленно».

Царского родича можно отправить в ссылку. Можно даже там сгноить — брата, наставника. На послания из ада, в конце концов, можно не обращать внимания. Да меж них и подделок много... А вот куда деть из собственных глаз эту братнюю усмешку? «Не хочешь властвовать — так и не надо, кто ж тебя-то неволит?» Тебя, несмышлёного... «Боишься идти к Копейной барышне? Так не ходи, я сам за тебя схожу, и девушка в обиде не останется...» И если бы ещё только это. Бывало и хуже: идти-то ты иди, в уголок к возлюбленной или в совет к сподвижникам Облачного рода — да не страдай заранее, как бы что-нибудь не напортишь. Ну, напортишь — а брат на что? Брат всё потом поправит...

Нелегкую задачу мне поставил мой Государь. Я-то царевича Кандзана самого помню плохо. На моё счастье, наверное, он меня не замечал. Знаю его только по рассказам.

По Государю же и знаю. Приказ: докладывай немедля, коли я вдруг поведу себя так... Как? Как Государь мой каждый день себя ведёт — только так и умеет, если не с богами, а с людьми. И сам себя за это ненавидит. Вот где ад-то...

Можно ли бросить человека, когда он это доверяет тебе? Не усталость, не слабость, а злость и грязь, что уж вовсе не подобает Облачному Властителю. И я хожу во дворец, хотя и без должности.

Ходил. Слушал. А теперь...

Нет уж, воин — так воин.

Полдня присматриваемся, потом обмениваемся наблюдениями.

— Конечно, не из Тоса. Бывать там мог, но не более того. Изъясняется вполне по-столичному. По походке я сказала бы, что конник. По одежде — ничего не понять. Нарочито невыразительные вещи.

— Оттого ли, что он, направляясь сюда, вынужден был полностью сменить платье в доме у кого-то из друзей? И там ему подобрали всё приличное, но строго без родовых знаков и прочих явных примет?

— С чего бы это?

— Подрался, изорвал, извозил в грязи... Но если у меня ещё что-то осталось от жреческого чутья, так я сказал бы: за последние лет пять этот рубака никого не убивал и не ранил. И сам ранен не был. Кровавой скверны на нём не заметно, как и следов очищения.

— Очень любопытно... — это она не из любезности, а взаправду, потому что опять стала покусывать край рукава. — Может, прежнее платье у него и с собою, в тючок зашито. Чтобы монахам отдать на одеяния. Или самому переодеться, когда явится к настоятелю того храма, куда наметился. Кстати, а что же это за храм? Судя по его дощечке — что это может значить?

— Почти что угодно. Настоящие обереги обычно пишут на бумаге. Но это может быть узор, срисованный с оберега. Чтобы найти, в котором храме здесь в горах такие раздают. Допустим, Общинное Собрание или Обрядовая Палата подозревают: среди горных подвижников распространилась некая неподобающая проповедь. И злотворные обряды. Посылать на проверку монаха — значит сразу себя выдать. Все грамоты спрячут и молиться при нём будут исключительно о защите державы. Конечно, глава

Палаты мог бы отрядить на такое дело своего внука... Но внук, чего доброго, сам подпадёт под пагубное влияние. Ему не впервой.

— Или решит лично сокрушить лжеучение, — понимающе кивает жена, — устроит прения с нечестивцами и допрёт до чего-нибудь ещё худшего...

Вот что значит — женщина из родного Конопляного дома! Как скажет, так хоть сквозь землю провались. Сквозь толщу гор.

— Несколько раз, по-моему, этот воин по-настоящему молился у придорожных святынь. Не вид делал, не благодарил, а просил о чём-то. Скорее, об успехе в будущем деле, чем о спасении вообще.

— Хорошо. Что у нас ещё на него есть? Стихов он не возглашает и, кажется, не сочиняет. Разговаривает мало и в основном — с проводником и с этим Занудой: про дорогу. Какие святыни уже миновали, какие урочища оставили в стороне. Куда какая боковая тропа ведёт. То ли правда любопытствует, то ли им головы морочит — не знаю.

— Мне почему-то не кажется, что морочит. По крайней мере — разговорами.

Но вообще-то, конечно, горные раскольники — не единственные, к кому дед мог направить соглядатая. И если так, то соглядатай, наверное, хороший — потому что совершенно незаметно, чтобы он за мною или за нами обоими наблюдал.

* * *

Молодцы, конечно, горные жители, что устроили тут паломничьи дворы через каждый дневной переход. Но никакие же ноги идти не будут, если днём не передохнуть! Отчего бы не поставить какой-нибудь настил с навесом посередине между стоянками, чтобы днём пообедать можно было как следует? И самую

жаркую пору переждать в тени. И не думать каждый раз, на что бы сесть и где подол расправить и штанины.

Расположились просто на обочине под деревьями, над обрывом. Он вдоль дороги последние два часа уж как тянется, и дальше вперед уходит, огорожен слегка каменной кладкой. Неровной и с просветами; защиты никакой, только для предостережения, чтоб не упасть. Из-за камней видны верхушки вишен. И между ними — голова. Тоже каменная, от высоченного изваяния, что стоит где-то там внизу под обрывом. Бритая, без кудрей, так что не сам Просветлённый. И венца с личинами нет: значит, и не заступница Чуткая ко Звукам.

Мужа пока не спрашиваю: может, сама соображу? Но тут меня с вопросом опередил наш воин, не замешанный в кровопролитиях.

— Не поводирь ли это голодных духов? — обращается к проводнику. С самого утра впервые голос подал.

Голодные — это те, что с раздутыми животами, на тонких ножках? На картинке во вчерашнем храме были такие. Да я и раньше видела.

Господин Зануда отвечает:

— Именно он! Имеется ровно шесть подобных истуканов, по числу неблагополучных миров. Оный подвижник, величаемый Утробой Земляною, являясь в разных обличиях, выводит грешников из миров адских, голодных, скотских, демонских...

— Мы к изваянию спускаться не будем, — перебивает проводник. — Склон крутой, а помолиться и отсюда можно.

Носильщик носильщику говорит:

— Эх поставили-то! Подношения ему сверху, что ли, кидать?

— А из людских и божеских миров этот поводирь тоже выводит? — спрашивает

новопостриженный монах.

— Да, хоть порою их и не причисляют к дурным... — говорит Зануда.

А зря, во всяком случае, насчёт людского мира, — читается на кислом лице монашеского спутника.

— Дурных миров всегда шесть! — проводник опять начал злиться.

— Ах нет же, во многих книгах — три!

— Шесть!

— Три!

Это надолго.

Воин к спору не присоединился. Опять умолк, а вскоре отошёл в сторонку. И довольно далеко. Понятное поведение для учтвого человека — но не со всею же поклажей!

Если бы он налегке пошел, следовать за ним было бы, конечно, неприлично. А так — может, у него тут-то встреча и назначена?

И на табличке у него размечены эти изваяния? Значков было не шесть, а больше. А кружок только один — вот эта голова? А волнистые черты — дорога и тропинки? Вот тут, например, проём в каменной загородке, вниз по склону идёт тропа. И ничего не крутая. Местами даже ступенечки.

Воин впереди, не бежит, не озирается. Прогуляться отошёл, снизу рассмотреть вишнёвый цвет поближе. Меня не замечает, и это, конечно, удачно.

Сверху казалось, статуя гораздо ближе. Но это потому, что тропинка не прямо ведёт, а петляет. Как бы он от меня за следующим поворотом не оторвался.

Мы, пожалуй, так и отстанем от спутников. Все, наверное, уже доели...

— Садако!

Ох уж эти дворцовые привычки: бегать, не топя! Муж. Догнал. Окликнул — хорошо хоть, шепотом. Но зачем по имени-то звать?!

Показываю глазами: вон он, наш подозреваемый, почти у самого истукана. Остановился и вроде бы молится. Можно отсюда посмотреть, кто к нему туда подойдёт.

Обидно будет, если никто.

— Говорили же: не сходить с дороги!

Это уже не муж. Уточка и Селезень подросли, запыхались. И оба такие сердитые!

— Не беспокойтесь, — шепчу, — мы сейчас!

Супруг мой на них глядит тоже неласково:

— А вы-то двое здесь зачем?

— Да мы... За вами! — выдыхает Уточка.

Ну, какая слезка при таком шушуканье? Воин услышал. Идёт к нам. Хмуро говорит:

— Шли бы вы обратно, дорогие спутники.

Нехороший у него голос. Но не робеть же, раз сами прибежали! Спрашиваю:

— А у тебя тут что?

— Вас четверых это не касается. Дальше я с вами не пойду.

Стоит на тропе, расставив ноги. Рукава подёрнул. За спиной — каменный Поводырь среди цветов. А из-за цветов, откуда-то снизу — белые струйки дыма. Наверное, там, в долине, живёт кто-то.

Селезень, поглядывая на руки воина, говорит:

— Вы, господа, идите. И ты тоже, — это он Уточке.

Потому что на этот раз может и кровопролитие всё-таки случиться. Воин взялся за рукоять сабли, а у Селезенья откуда-то большой нож появился, который он всю дорогу прятал.

Очень глупо и досадно так уходить — ничего толком не узнали, да ещё и оставили почти незнакомого попутчика прикрывать отступление. Оглядываюсь через плечо — нет, пока не дерутся, уставились друг на друга и стоят: воин — прямо, Селезень — пригнувшись

и оцетинившись. Ждут, наверное, пока мы совсем уйдём, за поворот.

Ну. Ушли. Только поворот оказался какой-то неправильный. Вроде бы тропинка должна уже вверх пойти, к лесенке и дороге. А никаких ступенек нет. Камни, деревья — и опять вниз.

Селезень нас нагнал — похоже, обошлось-таки без драки, но он всё равно мрачнее тучи и на Уточку шикнул, когда она что-то спрашивать начала.

Вот тут был склон, я точно помню. А теперь склона нет — отвесная скала. Но не прыгали же мы все с такой высоты сюда!

Вперёд движемся, а подъёма всё не видно. Шум за деревьями: то ли ручей, то ли даже водопад.

— Что-то там поминали насчёт Узорного водопада...

Мы, получается, утром должны были пройти мост над этой речкой, раз она поперек нашей дороги течёт. Так не было моста!

— Проскочили, что ли?

Повернули обратно.

Пожалуйста, если кто хочет: вот дальше вниз тропа есть. Эти ступеньки в тот раз были? Или другие? Попробуем пройти пониже?

— Только, господа, — молвит Селезень совсем понуро, — об одном прошу: давайте не врассыпную! А то совсем потеряемся.

Вишни впереди. И какое-то здание на каменной насыпи? Ох, нет. Это подножие того самого истукана, мы ему со спины зашли.

Приближаться не будем, на всякий случай. Отсюда никого живого не видно.

Может, подследственный уже и дождался своего свидания. И удалился. Чтобы проводника не тревожить...

Но дорога-то где?

Очень неудобно, когда на местности все приметы похожие. А некоторые так вообще одинаковые. Если не те же самые. Мы, кажется, кругами ходим.

Тут зато не так жарко, как наверху. Или это потому, что уже смеркается?

Походили ещё. Вечереет. Но из этого котла каменного даже не видно, в какой стороне закат. Просто сверху. И деревья не белые уже, а синюшного противного цвета.

— Ну, вот что, — говорит муж, когда мы в очередной раз набрали на изваяние. — Ночевать придётся здесь. В темноте мы точно не выберемся. Внизу там есть какое-то жильё, утром спустимся, попросим нас вывести.

А что остаётся?

* * *

Нет, я понимаю, что можно идти, идти — и заблудиться. Но всю ночь мы просидели на одном месте, перед изваянием, где Селезень костёр развёл. Не могли же за ночь все склоны так перекосятся? И ведь землетрясения не было — я бы услышала, я вообще сплю чутко! Особенно сидя, под открытым небом и не поужинав. И не пополднивав, кстати, потому что тогда днём этот воин слишком быстро свернул с дороги, мы ещё и подкрепиться не успели. А жаль.

Ночью тут не то что не жарко, а прямо-таки холодно. Очнёшься, оглядишься, посмотришь на эти вишни бесконечные, на унылые лица спутников — тоже теплее не становится. И роса на рукавах, как в песнях. И, что хуже, не только на рукавах.

Не зря, наверное, нас предупреждали: нельзя сворачивать...

Раз уж нет дороги вверх — надо бы поискать

вчерашнюю тропку вниз, к жилью. Только подниматься и идти — это ещё собраться надо. Сидим, собираемся... Супруг мой, надо признать, с достойным видом размышляет. Бывают же у знатных господ вроде него и без пудры такие лица — ничего не прочтёшь. Блюсти невозмутимую видимость, когда по-настоящему влипнешь.

Селезень с Уточкой шепчутся, шепчутся, шепчутся... а потом она как запричитает!

— Если мы тут надолго застрянем, ох, что скажет Конопляный господин!

Господин Хатидзё морщится. Не повернувши головы, спрашивает сквозь зубы:

— Который Конопляный господин?

— Так главный! Дедушка твой!

Муж мотнул было головою — а, мол, нашли о чём... И вдруг глаза открыл, выпрямился:

— Вы ему служить нанялись?

Что-то сообразил, продолжает со вздохом, уже ничего не спрашивая:

— Соглядатаями. Это дед мой вас в горы отправил. За нами присмотреть.

— Да уж, присмотрели... — отзывается Селезень.

— Дурак я, раньше не понял.

Селезень в сердцах чуть ли не кричит уже на него:

— Нашел же ты, барич, время в монахи постригаться! И место!

Муж тихо, якобы терпеливо, начинает в сотый раз свою погудку:

— Это не я. Это господин главный Конопляник решил за меня, чего мне хочется. И вот уже год настаивает на своём мнении. Даром что я в монахи отнюдь не собираюсь. Женился вот. Вишнями люблюсь. Забыл путь Просветлённого ради... это... мирских удовольствий.

Соглядатай даже сплюнул:

— У вас — мирские удовольствия! Молодая госпожа — за прохожим кавалером. Молодой господин — за молодой госпожой. Мы — за вами, что остаётся? А у нас, между прочим, дети в Столице!

Пожалуй, в чём-то матушка была права, когда говорила, что я не всегда думаю о том, как выгляжу со стороны. За кавалером...

Господин Хатидзё кивает:

— Дети в Столице. В Конопляном доме оставлены. Так?

— Так...

— Сколько им?

— Старшей десять, сыну восемь, — всхлипывает Уточка.

— А я вас там и не помнил, — говорит мой супруг.

— То-то и оно, что мы не прирождённые ваши слуги, а нанятые. И спрос с нас иной.

Это значит, они и правда крепко влипли. Оставить у себя заложников, да потом на них отыграться, если соглядатаи дело провалят, — дело обычное. И для Конопляного дома тоже.

Впрочем, если уж их послали следить за нами:

— Тогда у вас, наверно, чертеж дороги есть настоящий, а не как на храмовой дощечке?

— У нас все чертежи в голове, — говорит Селезень.

— Только там сказано, куда идти, — добавляет Уточка. — А всех мест, куда не ходить, нам не назвали... Рядом храмов нету, разве что какие-нибудь отшельничьи хижины.

— Значит, хижины пока и будем искать, — говорит мой супруг решительно и поднимается на ноги.

И остановился. Потому что ему навстречу выходит из-за цветов тот самый воин.

По его виду, кстати, тоже не похоже, чтобы он ночевал под гостеприимным кровом. Цветочные лепестки — и на одежде, и на лице, а он их и не стряхивает.

За оружие на этот раз не берется. И прежде чем Селезень заходит так, чтобы встать между ним и нами, — кланяется. Учтиво произносит:

— Прошу простить за вчерашнюю непозволительную грубость.

Спохватился... Супруг мой, однако, склоняет голову, смотрит выжидательно.

— Вынужден просить вашей помощи, — молвит воин.

— Ты тоже, — говорю, — не вполне знаешь здешние места?

Ну, да, издеваюсь. Потому что сама виновата, и это-то глупее всего.

— Увы, хуже, чем предполагал, — серьёзно сознаётся он. — Пробовал справиться о дороге у поселян. Но, к сожалению, они изъясняются на наречии, мне не знакомом. Может быть, кто-нибудь из вас сумеет разобраться, что они говорят?

* * *

Мало я видел деревень в Облачной стране, кроме как в столичной округе и вдоль паломничьих дорог. Но эта, кажется, самая бедная из тех, что до сих пор попадались. Или самая древняя. Исполнена старинной простоты: три землянки и амбар, крыши камышом покрыты. Соломе неоткуда взяться, полей вокруг нет, только огородные грядки. А камыш — с озера посередине этой впадины. Вокруг — вишни.

Святилища или храма поблизости не видно. Не считая статуи Земляной Утробы — вообще никаких мест поклонения. Или я не понимаю здешнего обряда.

Крестьяне вылезли наружу, когда мы подошли. На вид — обычные мужики в посконном платье. Хотел бы я понять, где у них тут коноплю сеют. На грядках же?

Не похожи эти люди на курчавых дикарей. Бороды бреют или выдирают. Ни столичной речи, ни южной, ни восточной, ни западной не поняли. Китайской тоже. Впрочем, понятия не имею, как бы я сумел объясниться с настоящими китайцами, если вслух, а не на бумаге. Три с половиной слова, какие я знаю на наречии Просветлённого, пользы также не дали. Смотрят неподвижно, даже не кивнут. И по-своему не отвечают. И меж собой не переговариваются.

Выселки тут, что ли, для больных, заражённых каким-то недугом? Тогда бы я, наверное, всё-таки почувствовал скверну...

Показываем знаками: нападать не будем. Хотим гостями быть. Подходим ближе — поселяне отступают. Прибавляем шага — шарахаются. Догоняем — хватаются за колья. Железных мотыг у них в руках не видно. Да нам вашего добра не надо, покажите только, как наверх выйти!

Один вроде бы понял. Туда? — тычет. Мы все киваем: туда, туда! Он скалится, отдаёт деревянный заступ соседу — и замахал обеими руками, как крыльями.

Издевается? Диким горцам не чужда шутка?

Пробуем ещё раз обойти долину. Тесная она, примерно три столичных квартала в ширину и чуть побольше в длину. В озеро впадает та речка, на которой водопад. А вот куда из этого озера вода стекает, непонятно. Разве что там расселина в толще земли. По руслу отсюда не выйти: ни вниз, ни вверх. Рядом с водопадом скалы совсем отвесные.

Кто-то шуршит в прошлогоднем камыше. То ли птица, то ли зверёк водяной. Соглядатай дедушкин

говорит: уже неплохо. Значит, рыба водится. Только удить нечем... Пока что.

Если он сообразит, как рыбы наловить, это будет очень кстати. Я-то ничего, но тут не все к посту привычные. А ели мы в последний раз вчера утром.

Впредь надо будет припасы носить с собою всегда, что бы там ни говорил проводник. На постоянные дворы не рассчитывать.

Вернулись на место ночлега, к изваянию. Решили тут и разместиться.

Я бы ещё прошёлся.

— Куда?! — окликают хором соглядатаи и супруга.

— Не потеряюсь. Тут негде.

— «Только не сворачивай»...

Я ведь помню это место. Жителей не помню, но в долинке этой я уже был когда-то. Иначе невозможно: любой из нас в прежних рожденьях успел пожить в каждом из мест во всех мирах. Потому что время бесконечно, а пространство ограничено. И кажется, в прошлый раз отсюда выход был. То есть я не помню, чтобы я здесь умер. Да и сейчас нам в долине могил не попадалось, никаких. Если же мёртвых относят выше в горы — значит, должен быть подъём, чтоб залезть с тяжёлой ношей.

Окружение прежнее помнить можно, это не чудо. Дела свои собственные забываются, поскольку их нет смысла помнить: их и так будешь избывать в следующей жизни. А горы, деревья, речки — помнятся. Особенно если их опять увидеть, въяве или на картинке.

Брожу кругами. Около истукана соглядатай с воином о чем-то спорят. Садако цапает меня за полу:

— Слушай, а мы точно в Облачной стране? Или...?

— Если б я знал.

Властители Земель стягивали воедино разные острова, и могло так случиться, что между нашими землями случайно попал ничейный клочок, куда Копьё не вонзалось и Вервие не дотягивалось? Потому и поселяне чужие нам, хотя вишни и похожи на наши? Или в Отрадных горах на самом деле есть незримые тропы в иные миры — к подземным узникам, голодным духам, к демонам и богам?

Про голодных духов лучше не надо. Животы у здешних, деревенских... Ну, нет, всё-таки не такие раздутые, как в книгах изображают. И шеи вовсе не тонкие.

Да был же я здесь! И должен помнить: озеро, водопад, нижнее кольцо вишен, уступ, огород, второе кольцо, пошире... Изваяние. Точно было. Отчего бы ему не быть даже и в ином мире, Землянью Утробу всюду чтут. И от изваяния надо... Сколько-то шагов в какую-то сторону. Там... Тропа? Клад? Потайная молельня, чтобы царёвы люди не догадались? Ибо правил Поднебесной в ту пору государь Беспощадный, и не ценил Закона Просветлённого, не отпускал подданных в монахи... Нет, это книжное уже. А надо не сочинять, а вспомнить.

* * *

Когда мужи совещаются, достойная женщина должна быть скромна и молчалива. Особенно при обсуждении ратного похода. Потому что воин и Селезень уже именно об этом толкуют: раз местные добром угостить не хотят, можно бы у них кое-что и силой забрать. Не так уж, мол, их и много. К тому же — безоружные, тёмные, непросвещённые людишки...

Жить мы, что ли, тут остаёмся? Пропитание ищем, а заодно и подданных? Просвещать их будем, да?

Может, и стоило бы предупредить наших спутников: а вдруг деревенские — это вовсе не дикари,

а духи? А если поверят, а потом окажется, что это никакие не духи? Будет очень обидно. Если ещё останется кому обижаться. Жалобный рассказ во вкусе моей мачехи: благородная дама, скончавшаяся в глуши от отчаяния и голода, блуждает среди камышей и воет... то есть горько стенает.

Оба двинулись к деревне — один с саблей, другой с кинжалом. А за ними и Уточка — камень какой-то подобрала и бочком-бочком. Ну, не оставаться же мне тут одной, пока они будут драться!

Пока супруг мой свои круги нарезает. Что-то ищет и молчит. А могли бы и вместе поискать! Нет, не разговаривает он со мной. Злитесь?

Пошла и я следом за вояками, без особой поспешности.

Крестьяне тут всё-таки явно не такие уж дикие — речей не понимают, но оружие признали сразу, разбежались по хижинам. Даже любопытно, что наши вояки предпочитают: приступ или осаду?

— Каждый дом потрошить — смысла нет, — говорит Селезень. — Посмотрим, что в амбаре.

Воин согласился — видать, и впрямь избегает кровопролития. Зашагали к амбару. Хорошо, что когда поселяне опять полезли из землянок наружу, то с криками! Плохо, что ещё и с луками. С минувшей зимы я лукам совсем не доверяю.

Их, конечно, не много, но гораздо больше, чем хотелось бы. Или это они стреляют так проворно? Пришлось всем отступить обратно к истукану.

Там уже не ходит, а сидит мой супруг. Бровью не ведёт, слова не говорит.

Так я и знала, что этим кончится! Сосредоточился. Накрепко и надолго.

Ох, а мужики эти, оказывается, не только стреляли, но и дострелили! Селезень вытаскивает из себя стрелу, Уточка причитает пуще прежнего, он ей

гаркает:

— Цыц! Одежку зашьёшь, а во мне дырки нет. Слабые у них луки!

Стрелу он отбросил, а я прибрала. У горцев не только луки слабые: наконечник не железный, а костяной. И, что любопытно, кость — не птичья. А скотины тут никакой вроде не видно. Или сюда дикие звери с гор по ночам спускаются? Или, что ещё хуже, в землянках людоеды обосновались. Заманивают, а потом... Нет, заманивать они нас, если честно, не пытались, это мы сами.

Сами. Гуськом. Я за воином, муж за мною, соглядатаи — за нами... А воин с чего сюда полез, ежели не на тайную встречу? Встречаться-то, получается, тут не с кем.

Стрелки нас отбросили, но преследовать, к счастью, не стали. Сидим, дух переводим. Стрелу у меня, как водится, отобрали — учтиво и настойчиво. Обсуждают, чьи это на ней перья. Самый насущный вопрос!

— Не иначе, орёл.

— Или сокол.

— Да где ж ты, барин, таких здоровенных соколов встречал?

Только не хватало, чтобы они между собой теперь сцепились.

Селезень и сам наконец сообразил, что незнамо чем занимается. Оставил стрелу сабельнику, встал, сплюнул:

— Эх, знали б раньше — сами бы припасли не стрелы, так дроты! А тут — не камнями же кидаться! Ладно, если снова на вылазку — то уж ночью. А пока попробую-ка я силок смастерить. Авось что и попадётся.

— А я вершу сплету! — подхватывает Уточка, явно с облегчением. Тоже драки не хочет, понятное

дело.

К озеру я с ними не пошла, только вслед смотрю. Нет, оттуда местные не гонят. Но наверняка следят незаметно — им легко, они округу знают наизусть.

А супруг мой Иэнори как сел, так и сидит. Как перед свадьбой. Тогда он в сосредоточении трое суток просидел. Что ему-то? Он при молитве в еде и питье не нуждается. И мыслей умных не подаёт, что дальше делать. Это-то и раздражает.

Господин Хатидзё когда-то в горы насовсем перебраться хотел. Сделаться праведным отшельником. Изучал, небось, как тут можно выжить. Мог бы и поделиться. Или понял уже, что всё без толку?

Уточка вернулась с тростником. Плетет какую-то корзинку и плачет. Дети, дети... Загубили мы детей... Самое неприятное, что Селезень её не одёргивает. Крутит верёвку из прошлогодней травы, молчит.

— Может, обойдётся, — говорю ей. — Наш глава дома, конечно, крут, но и у него сердце есть. Наверное. Вы же не нарочно, вы из-за нас...

— Да хватит врать!

Воин из-за спины у меня выскочил, встал перед нами. Кричит уже в голос. И куда только его спесь невозмутимая подевалась...

— Глава дома! Сердце есть! От таких господ, как ваш Конопляный, будете ждать любого злодейства — не ошибётесь! Для него люди — что солома. И не только ваша ровня, а и те, кто познатней его самого будет!

Ой... Знатнее дома Асано в Облачной державе только один...

Смолчать нельзя. Орать на него в ответ, как матушка моя, не очень уместно сейчас. Цежу сквозь зубы — с самым мерзким, самым зловещим присвистом господина следователя Наммы:

— Благородный воин изволил забыться.

Матушка. Батюшка. Батюшка...

Как скоро Государев сыск начнёт нас искать? И сколько дней займут поиски по Отрадным горам? И что от нас к тому времени останется?

Воин кричать перестал, но смотрит упрямо и в упор:

— Отнюдь нет. Я не забываюсь, я вспоминаю.

Селезень вдруг вскакивает:

— Глядите!

Тычет пальцем куда-то вверх. Задираю голову — нет, это он не чтобы отвлечь. Там, наверху, летает громадная птица. По крайней мере с телёнка. Чудная, неуклюжая, с длинным клювом, с толстыми лапами. Не кружит, не парит, а перепархивает с утёса на утёс. Таких я ни в жизни, ни на картинках не видела. И остальные, похоже, тоже.

— Никакой не сокол! — кричит Селезень. — И не орёл, да. Вот из чьих костей они наконечники для стрел ладят. И мотыга костяная была, помните? Я-то гадал, зачем здесь мужикам луки.

Сел. Бормочет уныло:

— Было б у нас, чем её подбить — с полмесяца бы жарили и ели, жарили и ели...

Подбить, однако, нечем. Жуткая птица преспокойно скрывается. Хотелось бы знать: она хищная или как?

Уточка dokonчила свою корзину, начерпала на озере воды с какой-то мелкой живностью. Я не стала разбираться, с какой именно. Ещё удалось надёргать ростков непонятной травы. Хоть что-то, и всё равно очень невкусно. И очень мало!

Так бестолково день и прошёл. Пристроилась я спать, привалившись к супругу своему, как к истукану. Спать всё равно получается только вполглаза. Потому что вокруг — и дикари с луками, и птицы сажённые, и по крайней мере один крамольник, если не изменник.

За ним я приглядываю.

Среди ночи вижу: воин опять отошёл от нашей стоянки в сторону, хоть и недалеко. То ли молится, то ли ругается, то ли горюет – кричит что-то стоном. Или он мужиков так пугает?

Трудно в таком состоянии вести следствие!

* * *

Что бы я мог поднести тебе, Земляная Утроба? Походное платье, посох с надписью, конопляную верёвку? Книгу для тебя почитать, из тех, какие я помню наизусть?

Утроба Земли, поводырь всех страдальцев на путях людских, скотских, божьих, демонских... Единственный, кто выведет из пламени ада и из тумана голодных земель. Первый, чьего милосердия хватает даже на самых лютых убийц, на всех бесчестных лжецов и гонителей Закона...

Всё не то. Я до сих пор жрец, а не монах, и тебя меряю по меркам божества. А ты подвижник, тебе дары не нужны. И величания тоже. Тебе самому вовсе ничего уже не нужно. Желания исчерпал до конца, осталось только милосердие.

И ты видишь, о чём страдают вот эти люди.

Садако. Ей страшно, потому и злится. Стоило жить на свете шестнадцать лет, чтобы сгнить ни за что? И отцу даже никак не передашь, что за дело расследовала, пока сюда не провалилась. А господин Намма, скорее всего, догадается: дело было, какое-то да было, иначе с какой бы стати дочке его пропадать так по-глупому... И будет себя винить, своё воспитание.

И ещё того хуже: если выходит, что он заранее с нашим теперешним провалом согласился. А как же не согласился, раз выдал её замуж, да не за сыщика, а за кого глава дома велел? И не надо было, с самого начала

не надо было во всём ему доверять, а кто же знал, что даже бабушке — нельзя?

Двое родителей: их ребятки в заложниках у Асано. Что сделает старик? Скажет спокойно: эта семья доказала свою неспособность к службе. И отдаст детей в невольники, куда-нибудь с глаз долой, в имение. Только ещё в Столице, на подворье Конопляники найдётся немало взрослых и обиженных служивых, кто для начала на этих двоих сиротах злость свою выместит. Такою кровью и грязью усадьбу поганить разрешается. Иногда. Чтобы стариковы ученики имели случай применить навыки распознавания скверны и лишней раз поупражняться в обряде очищения... Родители, сколько уж им жить осталось, так и будут себя винить: не сообразили, а ведь это не их двоих, а всех четверых отрядили в охрану младшему Коноплянику, и надо было детей брать с собой. Или бежать вместе с ними. Лучше вовсе без господина, чем с таким... Или было задумано, чтобы барский внук так и сгинул вместе с охраной. И тогда ещё поди пойми, на кого эти родители сейчас работают, с точки зрения Асано. Дети негодных слуг — или дети изменников сидят там в усадьбе. И что будет с ними, если Конопляный дом пойдёт — прямо там, в Столице — квитаться с врагами?

Воин. Недопонял приказ своего господина? Что-то перепутал по дороге? Теряет время сейчас, хотя пришёл на нужное место, только притащил с собою длиннющий хвост, и почему-то до сих пор от него не избавился? Тоже тяжко и страшно. Кажется, не смерти — а вот этой загадки, что он до сих пор не решил. Тошно думать, что господин переоценил своего человека.

Жалко их всех. А если уж мне жалко — то каково тебе?

Помоги, Земляная Утроба! Им. Нам. Выведи. Выведи отсюда! Я не верю, что здесь безопасное место. Оно и в прошлый раз не было хорошо для жизни, и тогда

мы отсюда куда-то подались. Куда, а главное, как, — я забыл. Это грех, но мой, а не их.

Ты-то помнишь. Напомни!

* * *

Если бы не вчерашняя еда, я, наверное, вообще бы не уснула. А так всё-таки подремала, всё в порядке, только тошнит. Даже сон видела: шёлковую куцу, белую, с дом величиной. И на ней стихи: Государеву хрену расти и расти десять тысяч лет... Очень красивый почерк! И рядом красавица рыдает.

Селезень с Уточкой привалились к изваянию и тоже подремали. А воин, похоже, вообще всю ночь не спал, а всё ходил дозором. Что, надо признать, к его чести. Хотя выглядит он с утра мрачнее прежнего.

Муж мой, господин Хатидзё, всё в прежней сосредоточенности. Я уже знаю, что расталкивать его бесполезно. Ну и ладно, всё равно, пусть даже он и не ответит:

— А мне, кажется, снились стихи царевича Кандзана. Те, из-за которых он пострадал...

Вроде и тихонько говорю — а наш ночной страж сразу встрепенулся:

— Так вы тоже к нему?

«Тоже»...

— Так царевич же в аду!

— А мы где?

В аду, если не в мире голодных духов. Никогда не видела, чтоб в таких мирах было столько вишен. На картинах либо пламя, либо какие-то унылые пустоши... Но с вишнями даже обиднее.

— И где тут царевич? — спрашиваю.

— Вот это я и пытаюсь понять. Но должен быть здесь.

— «Должен» — по твоей дощечке?

— Да по всему.

Самые худшие объяснения — вот такие. И не поймёшь: то ли он отвечать не хочет, то ли правда всё очевидно, а это я такая дура.

Воин помолчал. Кивает на господина Хатидзё:

— От его молитвы может быть какой-то толк?

— Знала бы я, о чём он молится.

— Нетрудно догадаться, о чем сейчас люди молятся, — воин словно бы усмехнуться хотел, но только скривился. — Теперь, когда друзья нашего будущего монаха потянулись из Столицы...

— Этого монаха? Шиш!

— Да нет, я о другом.

— О ком?

— Не важно. Об одном из близких родичей дома Асано, который всё-таки решился на постриг. Большого, увы, сказать не могу.

Ну вот, опять!

— Не можешь — не надо. Поговорим о другом. Ты-то сам кто такой? Что не южанин, мы уже поняли. И зачем тебе в ад?

— За господином.

Везёт же мне на этих добродетельных...

— Твоему господину пора скоро переродиться?

— Можно и так сказать. — Воин присел на землю, смотрит непонятно куда.

Я думала, он решил окончательно замолчать, но нет — снова заговорил:

— Тебе, наверное, понятнее будет так. Были в давние времена два друга и родича. И старший из них любил прекрасную столичную даму. А её родня выдала за младшего. Старший кавалер огорчился. С горя написал прощальные стихи, удалился в скитания. Много лет минуло, а прежнее чувство живёт в его сердце. И вот получает он весть, что родич его... ну, в общем, больше не женат. И может он к той даме

воротиться — пусть оба они уже и не молоды, но хранят преданность друг другу. Так понятнее?

Ох, как трогательно.

— А прощальные стихи тот кавалер написал на белом шёлке?

— Ну вот, ты ведь всё понимаешь — так чего зря спрашивать?

И тут, в самый неподходящий миг, вчерашние головастики дали о себе знать.

Но не настолько, чтобы уж и все мысли из головы вон. Присела я в кустиках и размышляю: это что же получается? Если царевич Кандзан не утонул, а скрывается здесь, в нашем местном аду, тогда ясно, почему гадания его распознают. И кажется, ясно, почему мы так срочно снарядились в паломничество. Допустим, Государь действительно услал моего мужа с глаз долой. Но не просто так, а с поручением! «Найди нашего с тобою негодяя брата и передай, чтоб тот не возвращался в Столицу, потому что я ухожу в монахи, и его появление поймут как притязание на царство, могут убить». Или наоборот: «Пусть он возвращается, место Властителя Земель скоро освободится, а сын мой еще молод, так что я хочу, чтоб мне наследовал брат». Это не значит, что царевича Кандзана не собираются убить: может, выманивают. Ну, а такое поручение, выездное, да в горы, конечно, господина Хатидзё обрадовало. Хотя мог бы и рассказать мне всё заранее.

Возвращаюсь — что-то не так! Вроде все на прежних местах, возле изваяния... только на сухую траву падает какая-то новая тень. Гляжу вверх — неужто вчерашняя птица? Уселась на скале и шуршит.

Соглядатаи наши тоже проснулись, смотрят вверх. Уточка охает:

— Крылатый пёс!

На собаку он, по-моему, ещё меньше похож, чем на птицу. И ноги у него почему-то в поножах и

соломенных лапоточках, одна прямо надо мною свесилась. Голосок тонкий и сварливый, человеческий:

— Кому говорили не сворачивать?

Тут уж все мы, кроме супруга моего, не стали отмалчиваться:

— Виноваты! Выпусти нас отсюда! Пожалуйста!

Встретились бы мы в городе или на дороге — я бы его, скорее, за человека приняла. Спрыгивает к нам сверху монах. Руки человечьи, одет, как горный странник, на макушке шапочка, в руках посох. За спиною вроде бы паломничий короб. Лицо, правда... Да в общем ничего, не всем же монахам быть красавцами. Длинноносый, с круглыми глазками, действительно, какими-то собачьими. Щёки румяные, в обе стороны торчат. При таких щеках обычно ещё двойной подбородок бывает, а у этого, кажется, подбородка почти и нет. А в остальном дюжий малый, пошире и Селезня, и воина.

Осмотрел нас всех придиричиво:

— Ничего не выйдет.

— Как?!

— А может быть...

— Нет уж, — говорит он. — Извольте объясняться перед Горным Созерцателем. Следуйте за мной. И не сворачивайте, не сворачивайте!

Мы подхватились, я трясу мужа, хоть и знаю, что бесполезно. Неужели нести его придётся?

Монах толкнул его посохом в спину. Совсем легонько, но подействовало!

— Подымайся, — ворчит. — Ты всех задерживаешь.

Супруг мой, не задавая лишних вопросов, надевает наш походный кузов. Монах шагает вперед, мимо изваяния. По тропинке вдоль скалы. Только вчера тут точно никакого подъёма не было, один обрыв. А

сейчас появляется дорога. Не та, по которой мы спускались, но даже более удобная.

А за плечами у монаха не короб, а плащ из перьев, как в сказках. Тщательно сложен и подвёрнут, ни за что не цепляется. Перья, кстати, те самые.

* * *

Дорога — это хорошо! Но не то чтобы она прямо вверх вела. Воин шагает сразу следом за монахом, мы за ним, а Уточка с Селезнем — сзади. А то вдруг мы опять сбежим?

Спрашиваю у мужа:

— Что ж ты мне не рассказал? Ничего не рассказал?!

Он после своего сосредоточения ещё не совсем проснулся. Говорит глухо:

— Прости. Я не знал, что так будет. С этой долиной. Прости меня.

— Да я не про долину! — отмахиваюсь. — Что царевич Кандзан тут живёт. Что Государь в монахи уходит. И вообще: что мы послы!

Он даже остановился:

— Кто уходит? Куда?

— Государь. Двоюродный брат моего достойного супруга. В монастырь. От царства отрекается. Как ты и обещал.

Для него это, кажется, правда новость.

— С чего ты взяла?

— Да все уже знают! Даже наши телохранители. Вот скажи, Уточка: в Столице про отречение Государя толковали?

— Да уж несколько лет, — подтверждает она. — А что?

— Вот видишь!

— А при чем тут царевич Кандзан? — хмурится

мой супруг.

— Так наследник!

Селезень кивает вперёд: отстанем, мол, потеряемся снова! Но мы их с Уточкой пропустим вперед, а сами договорим.

Муж нагибается ко мне:

— У Государя вообще-то наследник — сын. Утвержден всеми сподвижниками.

— Так тот еще маленький!

— Твой ровесник.

Без гадостей нельзя? Но я буду спокойна:

— Хорошо. Ты один не считаешь, что Государь собирается отречься. Тебя благословляют в путь. В Отрадные горы. Куда сейчас стягиваются сторонники Кандзана. Не утверждённого, и вообще бунтовщика, кому место либо в ссылке, либо уж в аду, но никак не в ряду притязателей на царство. Не кажется ли тебе, супруг мой, что от тебя во дворце решили избавиться насовсем?

Молчит. Потом спрашивает, совсем тихо:

— Ты можешь как-нибудь срочно связаться с господином Наммой?

— Да то-то и оно, что нет! — Всплескиваю рукавами, и от этого лепестки опять сыплются с вишен.

Как это «срочно», по-твоему? Говорящее зеркало я, что ли, с собой ношу? Вещую птичку за пазухой?

Муж сам понял, что глупость ляпнул. Помрачнел.

— Я бы тебе сказал: беги. Но... Ты представляешь хоть как-то, куда отсюда бежать, чтобы попасть в какое-нибудь... человеческое место?

— Понятия не имею, — ворчу. — Так что давай уж это... не сворачивать.

Двинулись вперёд. Догнали остальных. А те далеко и не ушли. На войне уже новая одежда. Видимо,

из тюка. Вся в узоре из облаков. Знаки служилого человека, чья семья присягнула Государеву роду.

А скоро уже показалась и хижина отшельника.

Домик Созерцателя — не у паломничьей дороги, а в стороне, над водопадом. Крыт тоже камышом, сам крепкий и добротный. Во дворе толпится челядь: и миряне, и монахи в пернатых плащах. А скотины никакой не слышно и тут.

На крыльце появился Созерцатель. Понятно, что он: вся толпа во дворе начала кланяться. Монахи подпрыгивают и плащами машут, как крыльями. И по-дурачки же это выглядит! Наш воин сразу падает ниц. Чуть помешкав — Селезень с Уточкой. Мы тоже поклонились: даже если перед нами смутьян, это не повод быть неучтивыми.

Похож ли Созерцатель на Государя? Не разберёшь: у него лицо не покрашено совсем. На мужа моего не похож — ну да тот-то в свою Конопляную родню выдался куда больше, чем Государь. Созерцатель собою видный, крупный мужчина. Уже не первой молодости. Будь он иного происхождения, можно было бы даже сказать, что несколько пузатый. Лицо румяное, мясистое, голова гладко выбрита. Посох в руке увесистый. Одет, как горные монахи: в короткие штаны, белую рубаху, со скатанной накидкой через плечо. Спрашивает участливо:

— Ну что, заблудились?

Голос у него вроде и ласковый, но звучный, на всю долину.

Воин первым откликается:

— Я Кацура Сабуро, сын Кацуры Сандая из Озерной земли, из рода твоих служилых. Прибыл к господину с важными вестями из Срединной Столицы.

Кацура, Кацура... Что за род? Не помню.

— Ну, раз уж прибыл, говори. При них можно, у

меня от них тайн нету. — Отшельник обводит рукою всю свою братию, или свиту, в общем, всю толпу своих присных.

Воин объявляет:

— Отец мой передает: Властитель Земель принимает монашеские обеты, если еще не принял, и удаляется от царства. Супруга Государя остаётся в миру. Почтительно просим пожаловать в Столицу и занять место, подобающее господину!

Горные монахи шуршат перьями. Люди переговариваются вполголоса.

Поверили? Или тоже, как я, ловушки испугались?

— Как отец-то? — спрашивает Созерцатель.

Воин в первый раз улыбается:

— Здоров. Ждёт решения господина. Вместе со всеми твоими людьми.

Созерцатель склоняет голову набок. Чешет в затылке. Неприличная повадка для царственной особы! Говорит неторопливо:

— Так Государь — принял или не принял? Обеты-то? Или он хочет, чтоб я его побрил?

Муж мой морщится. Похоже, вот теперь он узнал: да, царевич, не самозванец.

Кацура растерялся:

— Не знаю. Я долго был в пути.

— Ну и ладно. Тут в горах братец мой всё равно бы не прижился... Ты заходи. И попутчики твои пусть заходят. Голодные, небось?

Это он кстати!

Келья у него не то чтобы тесная. Хотя кому бы я очаг не доверила, так это монаху в перьях. Или это монахиня, не разберёшь. Дыма полно, но настряпано много и вкусно. И рис откуда-то есть, и коренья, каких я не знаю, и грибы, и даже выпивка.

Садимся с Уточкой в сторонке. Женской

выгородки тут нет.

Царевич закусывает с удовольствием. И молча.

Поевши, утирает лицо, молвит:

— Насчёт решения... На подобающее место, значит? А по-твоему, здешнее место чем плохо?

Воин отзывается:

— Судить не берусь, однако... Ад...

— Ну, и кто из нас в аду не рождался? Или в животном мире, или в божеском? Подходящее место всюду можно найти.

Вроде бы оправдывается, но голос самодовольный:

— Я понимаю: я вам в Столице нужен. А разве здесь я никому не нужен?

Кацура сначала молчит. Решил, что это для красоты речи спрошено? Но отшельник ждёт ответа. Воин говорит:

— Мы двадцать лет верны тебе и ждем тебя...

— Я очень люблю твоего отца, — вздыхает Созерцатель. — Но есть у Сандая один недостаток: он не слушает, что ему говорят. Если я кого-то освобождаю от клятв, это не стоит пропускать мимо ушей.

— Если бы мы от тебя получили службу... Но мы ее унаследовали.

— Ну, да, — кивает царевич. — Наша связь predeterminedлена указами позапрошлого царствования. Так указы-то — поменялись. По закону у меня сейчас земли нет. И людей нет, Сабуро. Кстати, за кем теперь записаны Озёрные имения?

— Это не важно, — говорит Кацура упрямо.

Мне показалось — или Селезень выругался тихонько?

Супруг мой опускает глаза. Потому что очень уж всё это знакомо. От услуг преданных людей в Государевом дому все отказываются одинаково. И этот царевич, и Государь. И прежние государи, наверное.

Созерцатель не отвечает. Кушает дальше.

— То есть мы тебе не нужны, — хрипло говорит воин. — А как же Государыня?

— А что государыня? — поводит плечами отшельник. — Если она меня и помнит, то совсем не такого, каков я сейчас. А прежним я уже не буду. Не смогу, да и не хочу.

Что и сама Государыня не такова уже, как двадцать лет назад, он, конечно, не уточняет. Разлюбить — пожалуйста, а признаться в этом почему-то неловко.

— Что до тебя, Сабуро, до твоего отца, до остальных, кто с вами... — продолжает Созерцатель задумчиво. — Я ж от вас не отказываюсь. Перебирайтесь сюда. Долина невелика, но место для вас найдётся. Раз уж вы за мною — хоть в ад.

— За вишнями смотреть, — бурчит Селезень.

Гостеприимец наш не обращает на него внимания. Говорит Кацуре:

— Так что — жду твоего решения.

Тот долго молчит, грубо уставившись на собеседника. Потом кланяется:

— Прошу прощения у наставника. Я понял. Конечно же, ты не Кандзан.

Отшельник расхохотался совсем не по-придворному, весело:

— Сообразил! Наконец-то!

Не простившись, воин встает и выходит.

Ну, да. Раз тут не царевич оказался — что ещё остаётся? Искать настоящего.

* * *

Какура выходит: стремительно, едва не сшибая рукавами и сабельными ножами угощения с подносов.

— А вы зачем пожаловали? — обращается

Созерцатель к нам.

Отвечаю:

— Твой посланец всё верно сказал: мы совершали паломничество по Отрадным горам и, увы, отклонились с пути. Почтительно просим указать нам дорогу.

И жена, и соглядатаи наши выдохнули с облегчением. Ждали, что я пущусь в разговоры об учёных предметах? Или о горных чудесах? Очень оно мне нужно...

А царевич Кандзан ничего такого и не опасался.

Кивает:

— Вам как: прямо указать или с уподоблением?

— Рады будем и тому, и другому.

— Как выйдете отсюда, так спускайтесь к истукану: его видно от ворот. И оттуда прямо вверх по тропиночке. Выйдете на паломничью дорогу:

Верно, не долго

Цветенье вишневое —

Час — и опало!

Краток наш срок меж людей,

Краток наш срок и в аду.

Хорошие стихи. Но для стены ближайшего постоянного двора вряд ли годятся.

Постоялый двор, ближайший — это возможно? А ведь, кажется, да!

Оставлю подношение здешней обители: веревку. Конопляную, из дома Асано. Один из служек пернатых её хозяйственно прибирает.

Движемся, как указали.

Только сейчас я сообразил, чем странно это изваяние Земляной Утробы. Если считать, что оно стоит в замкнутой долине, то получается — задом к

поселению. Никакие святые места так не обустроивают. Но перед ним в самом деле начинается тропа наверх.

Спасибо!

По пути не разговариваем. Спутники мои всё сомневаются: так выйдем или нет? Или этот отшельник нас тоже надул?

Но вышли. Добрались до паломничьей стоянки. Ещё издали слышим крик:

— Имеются многочисленные примеры! Неисчислимы, говорю я вам! Свидетельства, что порою даже спустя много лет... Столетий! Тот, кто однажды потерялся, потом неожиданно находится!

Самый просвещённый из наших попутчиков. Надо бы и его поблагодарить. А то бы, может, нас и не дождались...

— ... И обнаруживают на родине у себя разительные, я бы сказал, перемены!

О, да. Главное потом ящичек запретный не открывать, как тот рыбак. А то полезут оттуда всякие чудеса иных миров...

Или вишнёвые лепестки — облаком.

И старуха с внуками тоже тут, и чиновник с другом-монахом. И проводник: весь багровый. Его просвещённый господин так довёл страшными рассказами, что он обиделся и сказал, что дальше не пойдёт. Пока перед ним не извинятся.

Мы извинились.

В путь всё равно отправляться только утром. Брага, как и было обещано, здесь отменна: мысли отшибает начисто. Страсти остаются.

Старуха за пологом громогласно вопрошает:

— Что они говорят? Где они гуляли?

— Ничего, бабушка! Помалкивают!

— Ну, дело молодое...

Ночью Садако прижимается ко мне. К пьяному — можно, как и к сосредоточенному. Тут-то уж ясно: не отвечает за себя человек, что с него возьмёшь.

За неё тоже не отвечаю, как оказалось. Иначе смотрел бы лучше и в ад бы не пустил, даже ненадолго.

Государев брат сделался отшельником. Счастлив. Сумел всё бросить. Может быть, Государь, как и хотел, пострижётся в монахи. Только ясно же: не бросит он ни одного из своих несчастий. Вот чему его на самом деле брат научил: нас двое, ты и я, удачливый братец и братишка-неудачник. Неразлучная пара, даже если десятки лет не видеться. Каждый любит свою долю. И — как же Государь мой презирает любого, кто своею долей доволен!

Мы бы тоже так могли. Умница-жена и муж-дурак. Тоже жили бы парой...

Садако тихонько шепчет:

— Вот что любопытно. Нас тут встретили и отругали. Но никто, даже Зануда, не спросил, куда делся тот воин.

— Ну, уж такой-то пустяк царевич мог сделать для своего человека. И на том спасибо.

Больше мы об этом не говорим.

А в последнем храме на нашем пути все паломники уже рыдают. Монахи читают заунывное и тоже в слезах. Стихи готовы: вот, дескать, белым погребальным цветом опадают нынче вишни. Весть пришла: отрёкся Властитель Земель...